

МАКСИМ БУТЧЕНКО

# ТРИ ЧАСА БЕЗ ВОИНЫ



новое **НВ** время

**С** FOLIO

# Максим Анатолиевич Бутченко

## Три часа без войны

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22027958](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22027958)*

*Три часа без войны / Максим Бутченко: Фолио; Харьков; 2016*

*ISBN 978-966-03-7504-8*

### Аннотация

Новая книга Максима Бутченко – это история современной Украины, показанная через призму судеб трех людей, прошедших через военное противостояние на Донбассе и волей случая оказавшихся в одной камере Лукьяновского СИЗО. Главный герой – российский офицер Илья Кизименко, воевавший в украинском добровольческом батальоне, попадает в камеру с шахтером Лёхой, после гибели семьи вступившим в «ополчение», и стариком Петром Никитичем, мечтавшим увидеть море, а очутившимся в одном из «подвалов» «Новороссии». Три человека – три позиции. Особенно обстановка накалилась, когда выяснилось, что Илья виновен в смерти жены и сына Лёхи. В течение трех часов шаг за шагом, слово за слово они вновь пропустили войну через себя, в любую минуту готовые убить друг друга. Сумеют ли они примириться, вернуться к потерянной ими жизни, вернуться к себе самим, чтобы стать людьми, а не машинами для убийства?...

# Содержание

2016 год	5
Глава 1	7
Глава 2	18
Глава 3	30
Глава 4	44
Глава 5	53
Глава 6	64
Конец ознакомительного фрагмента.	76

# Максим Бутченко

## Три часа без войны

© М. А. Бутченко, 2016

© А. Самоваров, художественное оформление, 2016

*Посвящается жертвам этой войны.*

*Когда-нибудь мы каждого назовем по имени,  
чтобы никого не забыть.*

*Я безмерно благодарен моей любимой жене  
Татьяне, которая терпеливо помогала мне дойти  
до последней строчки книги.*

# 2016 год

## Вместо предисловия

Эхо Донбасской войны еще долго будет звучать в наших ушах. Мы войну еще не переварили, не свыклись с мыслью, что она вообще была. Не разделили время – «до» и «после». Застряли в безвременье, там, где нет мира, спокойствия, но нет и масштабных боевых действий. Мы повисли в вакууме, в котором все еще раздаются взрывы, но их отзвуки к нам не доносятся. Мы словно находимся на другой части Галактики, усиленно имитируем мирную жизнь, в которую метеоритами врезаются вести о новых погибших. Нам еще нужно встретиться с войной – серьезно осознать, что она шла и идет параллельно. А потом необходимо дожить до ее окончания. Но не в физическом мире, а в мире солдатских душ, там, где еще десятилетиями боевые товарищи будут умирать на руках, а взрывы – разносить останки тел по полю, смешивая их с донбасской грязью. Нам еще придется пройти по степи, на которой когда-то растекались лужи крови. Крови с обеих сторон. Даже не так – сторон окажется больше. И каждый год мы будем открывать новые грани в произошедшей трагедии, чтобы однажды проговорить все слова, которые должны быть сказаны.

Эта книга основана на реальных событиях в жизни, на

первый взгляд, разных людей. В центре сюжета – три человека, которым пришлось сначала стать жертвами, чтобы потом стать убийцами. Именно они понесли бремя победы и ощутили радость наказания. А все для того, чтобы в определенный, можно даже сказать – исторический, момент оказаться неизвестным числом  $x$  в уравнении с тремя известными значениями – Киевом, Донецком и Москвой.

# Глава 1

В тюремной камере с острым визгом открылась зеленая железная дверь, покрытая тонкими трещинами, словно старческими морщинами. Дневной свет, будто заскучавший пес, ворвался в темный коридор и облизал измученное лицо Ильи Кизименко.

Двадцатисемилетний коренастый мужчина с прямым носом, широким подбородком и взлохмаченными волосами глянул внутрь камеры – синие двухъярусные кровати, по-местному – шконки, стояли, пришвартованные к бокам помещения. Маячащий за спиной Кизименко пожилой пузатый охранник недовольно засопел, его подопечный остановился как вкопанный у порога, замер на несколько секунд, осматривая камеру, а потом шагнул вперед. Стены были покрашены ровно до половины зеленоватой краской, которая выцвела, кое-где вздулась пузырями, лопнула и обнажила синевато-оливковое заплесневевшее чрево. Оставшаяся часть стен и потолок были побелены, правда, так давно, что сереющая отталкивающая плесень проступила, словно пятна сыпи, на их поверхности, сожрала белизну на углах и, словно нарисованная черная бездна, уходила куда-то за пределы тюрьмы. Илья, которому до сих пор не верилось, что он оказался здесь, нерешительно подошел к окну. Черные, будто обгоревшее дерево, прутья решетки окна разделяли

уличный свет на маленькие квадраты, и тот распластался в пыльном воздухе, еле покачиваясь из стороны в сторону. Заключенный медленно прошел туда-сюда, измеряя помещение шагами, – ровно шесть с половиной.

– Теперь моя жизнь измеряется не годами, а тремя метрами, – сказал он тихо.

Еще год назад Илья воевал и не мог представить, что когда-нибудь попадет в киевский Лукьяновский СИЗО. Если бы на Донбассе под обстрелом «Града» ему показали будущее, то он, наверное, сторел бы от стыда. В нем всегда проявлялось повышенное чувство справедливости и самоирония. Однажды, когда их накрывала артиллерия, молодые бойцы лежали с бледными лицами, молчали. А Илья, наоборот – тархтел без умолку, посмеивался над товарищами.

– Это у тебя защитная реакция такая, – сказала ему молоденькая медсестра Настя. – Ты самое сложное, что происходит в мире, – ожидание смерти – сводишь к самому простому – смеху. Так защищаешься.

– Та ладно, Настёна, что ты так серьезно? Моя жизнь, как помятая копейка, мало кому нужна, – как обычно с улыбкой отвечал он.

Подобные беседы почти всегда случались после бомбежек и обстрелов. Как-то солдаты сидели в окопе, вечерело. Илья курил, пускал по ветру дым, который на секунду вздымался белым драконом над землей, а потом в судорогах расплзал-

ся на части. А затем каждая из этих частей разделялась на более мелкие рваные кусочки, а те – на еще более крошечные. И всё. Воздух снова чист. Это движение частиц развлекало Илью, напоминало человеческое существование: оно как бы появилось из ниоткуда и в какой-то момент начало распадаться на невесомые лоскутки.

И тут к нему приблизилась Настя – худенькая белокурая двадцатидвухлетняя девушка небольшого роста. Она пробиралась извилистыми окопами к другому концу укрепрайона. Боец залюбовался медсестрой. На фоне сырой земли, с оттенками самой мрачной ночи, ее светлые волосы порхали, будто пламень с небес. А познакомились они гораздо раньше, на Евромайдане. Когда события в центре Киева приобрели размах, Настя из Житомира приехала в столицу. Месяц ночевала в палатках, недосыпала, недоедала. Как-то вечером, когда огонь подожженных баррикад подступал к оборонительной линии, начала помогать раненым. Вокруг ша-стали какие-то люди, на сцене еще находились протестующие – что-то пели, говорили. Стоял невообразимый шум: голодными волками выли сирены, воздух крошился от взрывающихся фейерверков, раздавались возгласы майдановцев и тут же тонули в общем гаме. Казалось, ораторов на сцене уже давно никто не слушал, а те и не старались донести свои речи до людей – кричали в небеса. Небо, словно накрытое черной шубой, отчаянно мигало звездами, как бы выстукивая протестующим на Майдане ответ азбукой Морзе: «Про-

держаться еще один день». И держались. Наперекор пламени и дыму.

Первая линия обороны постоянно редела, а потом вдруг появлялись новые люди. Их было немного – редкая ограда из человеческих тел, которые двигались, копошились, падали замертво. И тут снова возникали другие, будто воскресали мертвецы. Картина апокалипсиса.

В какой-то момент Илья оказался на передовой, сам не понимая как. Он подбежал к линии защиты, состоявшей из снега, разбитых лавочек, железных прутьев, воткнутых в пузатый живот сугроба, и на мгновение остановился, прежде чем кинуть «коктейль Молотова». В ту же секунду его ранило выстрелом «беркутовца» – пуля полоснула плечо, оставила кровавый след. Он опешил от неожиданности и сквозь густой черный дым устремился поближе к сцене.

– Эх, блин, а это больно, – проворчал Кизименко, и через мгновение к нему подскочила Настя.

– Что случилось? – закричала она ему в ухо.

Это «что случилось?», как ни странно, вдруг успокоило его, принесло умиротворение. Может, потому что в какофонии взрывов, выстрелов, грохота, словом, во всех неживых звуках он слышал человека.

– Задело. Рука. Несильно, – отчеканил Илья и посмотрел на девушку.

Красивое лицо Насти внезапно вызвало у него множество эмоций – от благодарности до какого-то молниеносного вле-

чения. Может быть, поэтому на его лице неожиданно появилась странная в данной ситуации улыбка. Настя испугалась и еще более настойчиво произнесла: «Что с тобой? Говори!» Последняя фраза привела Илью в чувство, и он рассказал о ранении. Слово за слово, они разговорились.

– Сколько ты уже тут? – спросил Кизименко, когда медсестра наклонилась к нему обработать рану.

– 723 часа, – громко выпалила девушка.

Интересоваться непривычным подсчетом не было времени. Еще минуту она занималась плечом Ильи, затянула рану бинтом, а потом подняла глаза.

– Ты хоть откуда, как сюда попал? – задала вопрос девушка.

– Я из Питера, – серьезно ответил он.

– Откуда-откуда? – удивленно переспросила Настя.

Но ответить Кизименко не успел: рев сирены накрыл толпу на Майдане. «Беркутовцы» врубили мощные динамики и бросились в очередную атаку. С тех пор Илья и Настя мало разговаривали, лишь иногда перекидывались фразами.

И теперь на Донбассе протестующие против режима Виктора Януковича снова встретились. Настя ловко скользила в окопе по утопанной земле и так быстро устремилась к нему, что вспомнился майдановский эпизод.

– Настюх, куда летишь? – спросил Илья.

– К тебе, милый, соскучилась, – не моргнув глазом сказала она и прошла мимо.

В ответ на лице бойца расплылась его привычная улыбка. Хотя привычной она стала не так давно. Еще пять лет назад он был совсем другим – молчаливым, нелюдимым, мрачным. Ему нравилось бродить темными переулками, когда его никто не видит. Ссутулившись, он часто заходил в незнакомые дворы. Обычно выбирал лавочку, садился и смотрел, как мелькают фигуры в наполненных желтым светом квадратах окон.

«Жизнь – это случайное собрание случайных людей в случайном доме», – думал он.

Петербуржец верил в случайность. Для кого-то Бог – основа существования, для кого-то – собственное эго. Для Кизименко бытие – это трепет от осознания конца жизни перед пропастью великого Ничто. И этот трепет заставлял его познавать сущее. Может быть, когда-то он придумал это сам, а может быть, где-то прочитал – уже давно не задумывался о таких вещах. Илье важно было это щемящее чувство осмысления едва уловимого мига, частички времени «здесь» и «сейчас». Эти походы по чужим дворам успокаивали его душу, упорядочивали мысли, особенно в те моменты, когда он наблюдал хаотичную суету темных силуэтов в теплом свете окна.

– Нравится, что аж рот открыл? – Пузатый охранник прервал размышления арестанта СИЗО.

Довольный своей шуткой, вертухай постучал дубинкой по

железной кровати. Та нервно отозвалась протяжными тонкими звуками, и они на несколько секунд заполнили камеру. Железный звон еще звучал в воздухе, а Кизименко думал, как ответить заносчивому тюремщику. В голове прокручивались различные сценарии. Вначале он хотел стукнуть его головой об кровать, потом ударить что есть силы ногой в пах, толкнуть скрючившееся тело о стенку. Или развернуться и справа вонзить кулак в жирный двухъярусный подбородок. Пока заключенный думал, сзади раздался характерный скрип – охранник исчез в черном проеме, как в другом, недоступном для узника измерении. Дверь захлопнулась. Кизименко остался один.

Неспокойное чувство не покидало его. Он прошелся по камере еще раз, осмотрел окно с решетками. Присел на шконку, которая визгливо и недовольно заскрипела. Сколько времени прошло, прежде чем Илья вот так смог остаться наедине с собой? Пять месяцев? Семь? А может, двадцать? Он давно перестал вылавливать в сетях времени свое одиночество. Его охватило почти забытое чувство – он ощутил границы своего тела в бесконечном мире, осознал, что живет. Так всегда случалось, когда он бродил темными вязкими вечерами по глухим переулкам.

Кизименко подумал, что неплохо было бы сейчас закурить, как вдруг вспомнил, что не курил уже месяц, бросил еще в зоне АТО. Но сейчас неожиданно захотелось как-то успокоить гнетущее чувство в душе, которое вот уже много

дней мучило его, как призрак – постояльцев древнего дома.

– Стар, наверное, я стал, раз так рассуждаю, – сказал он сам себе и запнулся.

Обычно разговоры с собой не приводили к успокоению – наоборот, он ожесточенно резал правду-матку о себе. Может быть, и теперь начал бы постепенно складывать слова в предложения, которые, как плеть, в убыстряющемся темпе хлестали бы его душу, оставляя на ней рубцы. Но не успел.

За дверью зашуршал контролер-охранник, в обязанности которого входит открывать двери в камеру. Железо резко закрипело, противно растягивая звуки. Через пару секунд показался толстый охранник, а позади него стояли двое. Одного из них Илья узнал – это был тюремщик, который сопровождал его по пути в камеру. А третьим был еще один заключенный, новенький – широкоплечий молодой парень с приплюснутым носом и коротко остриженными волосами. На плечи его была накинута старая камуфляжная куртка, ботинки сильно истоптаны, но футболка и брюки по-армейски опрятные и чистые.

«Где я его видел?» – моментально выстрелила пулей мысль в голове у Ильи.

В это время толстопузый осмотрел помещение, махнул головой второму вертухаю. Тот послушно, не говоря ни слова, легко пнул рукой в спину армейца. Заключенный даже не обернулся, сделал несколько шагов и остановился у шконки, затонувшей справа по борту. Толстяк довольно хрюкнул и

резво посеменял к выходу. Илья сел на нижние нары, оперся о стойку и посмотрел на соседа, не подав и виду, что попал в камеру всего лишь полчаса назад.

– Как зовут, братишка? – спросил новенького «дед».

– Лёха, – процедил тот и тоже плюхнулся на нары напротив Ильи.

На этом разговор закончился. Каждый погрузился в свои мысли. Лёха насупился, видно было, что эта ситуация в его жизни произошла впервые. Он лег на спину, положил руки под голову и стал смотреть на дно второго этажа кровати. Его глаза блуждали по неровной поверхности железных листов, обшаривая каждую деталь, шероховатость. Со стороны могло показаться, что он изучал строения несовершенной конструкции в неидеальном мире. В природе корявость форм и неровность плоскостей – всего лишь результат нервозности Создателя, решившего, что в мире не должно быть ничего безусловно прямого. Так думал Лёха или иначе, наверное, не имеет никакого значения. Проигрывание мыслей человека, попавшего в СИЗО, подобно ходу магнитной ленты старой кассеты, которую внезапно «зажевало». Больше задержанные не вымолвили ни слова. Разговор прекратился, так и не начавшись.

Молчание распотрошило все отзвуки в камере. Каждый поглощал свою тишину. Насколько сильно она отличалась от тишины другого человека? Наверное, никто бы во всей Вселенной не смог это аргументированно объяснить. Лишь по-

том станет ясно, что все, происходящее в камере в дальнейшем, зачато, как дитя в чреве женщины, семенем этой тишины. Пройдет много дней, проведенных в размышлениях и воспоминаниях, прежде чем придет осознание важности этого неприметного момента.

Илья захотел в туалет, встал и подошел к параше. Его сокамерник все так же уныло блуждал глазами по стене и стойкам шконки и будто не замечал, что делает коллега по несчастью. А Кизименко отошел от толчка и внезапно устоялся на лицо Лёхи. Тот лежал так, что большая часть его физиономии оказалась видна Илье. Так продолжалось буквально три секунды – мало, чтобы вновь прибывший заключенный успел отреагировать на пытливые взгляды «старожила» камеры, но много, чтобы предопределить целый жизненный путь.

Хотя, чтобы быть точным, этот взгляд нужно измерять даже не в секундах, совсем нет, это слишком неточная величина, чтобы понять, каким он был долгим и проникающим в глубины неосознанного. Взор Ильи нужно считать в миллисекундах – их было ровно триста. Три сотни колебаний, микродвижений, растянутых на временной шкале. Для Ильи трехсот составных частей оказалось достаточно, чтобы перевернуть его жизнь. Он медленно подошел к шконке и осторожно лег. Сердце отбивало чечетку не хуже выступающего танцора степа. Голова болезненно отяжелела.

Кизименко вспомнил, где видел Лёху. Ровно девять меся-

цев назад, стреляя из гранатомета, он разрушил дом в донецком поселке Пески. А через пять дней проезжал мимо черных, обгоревших остатков хаты с провалившейся крышей и костлявой сгоревшей мебелью, и вспомнив, что тут произошло, подошел к разрушенному зданию. Дверь в заборе наклонилась набок. На ограде – царапины и вмятины от осколков и сквозные дыры, как глазницы черепа. Одна стена дома рухнула, обнажила растерзанные внутренности, как у пациента во время хирургической операции. Ветер шелестел куском расплавившейся занавески, а иногда истерично хлестал нейлоновую ткань об истлевшую плоть хаты. Во дворе никого не было. Илья подошел к пролому, хаотично раскиданные вещи покрывали землю, словно инсталляция о смысле беспорядка. Но тут его взгляд остановился на фотокарточке, согнутой пополам. Небольшую ее часть опалил огонь, проведя черными макияжными тенями полосы по сгоревшему краю, а остальное уцелело. Кизименко нагнулся и поднял фото, расправил одной рукой, на пальцах остался чернильный отпечаток пепла. И тут ему открылось изображение, не раз являвшееся потом к нему во снах: на фотографии мужчина (а им оказался Лёха) нежно обнимал красивую кудрявую женщину и опрятного ребенка, смотрел в камеру и беззаботно широко улыбался.

## Глава 2

На несколько минут молчание распятием возвысилось в камере, словно победа беззвучия над любым шорохом. Илья заворочался, посмотрел на сокамерника и увидел, что тот прикрыл глаза и дремал или делал вид, будто отдыхает. Кизименко попытался рассмотреть своего сокамерника. Сейчас они находились в так называемом карантине, особой «хате» по-блатному – камере, в которой содержатся новички, – те, кто в первый раз попался на правонарушении. Обычно новенькие сидели здесь до тех пор, пока не набиралось определенное количество задержанных, которых потом распределяли по остальным «хатам».

Лёха ровно дышал. У него были впалые щеки, что выдавало склонность не столько к худобе или скудному питанию, сколько к борьбе за существование. Дни потрепали его, как дворовую собаку, – линии лица стерлись наждачной бумагой времени почти до кости. Глубокие морщины изрезали кожу. Заключение действительно заснул, одна рука лежала на груди, другая – на кровати. Ногу Лёха протянул так, как будто хотел поставить ее вперед, а второй – сделать отступ для рывка. Пауза продолжалась несколько минут.

Этот период, когда они не разговаривали, определил ход дальнейших событий. Нужно сказать, что с временными промежутками у Ильи были особые отношения. По какой-то

неизвестной ему причине он мог ощущать, как в незримых и великих вселенских часах струится песок времени. Это чувство пришло к нему, когда он пошел в первый класс. Илья помнил, как переступил порог школы: он оглядывался по сторонам, ему было любопытно, какая жизнь там, за порогом, – в коридорах, выкрашенных темно-коричневой краской, у старой зеленой доски в классе, за неудобными партами. Но настоящее погружение в иную глубину бытия произошло спустя четыре месяца. Он стоял в пустом кабинете после уроков, голова опущена, рядом мама и Валентина Федоровна, классный руководитель.

Мать озабочена. Поглядывает то на сына, то на классного руководителя.

– Вы знаете, Ирина Петровна, ваш сын никогда не научится читать, – вынесла вердикт преподаватель и укоризненно осмотрела маленького Илью с ног до головы.

Тот старался не поднимать глаз, а только сопел, как чайник, который вот-вот закипит.

– Но как же так, Валентина Федоровна? Разве он глупее других? – спросила мама и легким движением утерла край глаза: там уже созрела слеза, готовая окатить соленой влажностью кожу.

– Да уж поверьте мне: он даже буквы не может выучить! Дети вон как шпарят, читают вовсю. А ваш!.. – с сожалением выдала учительница, а потом в сердцах даже бросила карандаш на стол, и Илью окатило тупым и объемным шумом от

этого движения.

Мальчик захныкал. Казалось, плач и вой уже кружились в нем бурей, разрывали штормом его естество, накрывали вихрем душу. Но каким-то недетским усилием воли он сдерживался и только еле хныкал. Тогда разговор продолжался двадцать минут. Как Илья это понял? Просто и одновременно сложно – от напряжения он почувствовал ритмическое колебание времени. В том возрасте, конечно, большие цифры ему были недоступны, но он отчетливо помнил, когда шел по коридору школы, что часы показывали большой стрелкой на два, а маленькой – на час, а когда они вышли от классного руководителя, то большая стрелка застопорилась ровно на шестерке. Фокус в том, что этот промежуток он знал до того, как посмотрел на циферблат.

С того дня он начал считать время. Кто-то его бездумно тратит, а кто-то даже не замечает. Для Ильи мельчайшие импульсы времени стали такой же реальностью, как и чувство позора. Эту встречу мамы с учительницей он не забудет никогда в жизни. В тот вечер мама сидела возле него и пыталась погладить по голове, пожалеть.

– Мама, не нужно, я сам, – решил он и отстранил руку матери.

Та на мгновение отпрянула, а потом посмотрела на него, словно не узнавала сына.

– Что сам? – спросила она.

Мальчик поднял глаза – взрослый, осмысленный взгляд.

Мать удивилась его серьезности.

– Я буду читать, – ответил Илья и замолчал.

Эти слова, словно прикрепленные на незримых нитях, висели между мамой и сыном и, казалось, не хотели падать на пол. Только притяжение, даже не земли, а магнита времени, обрушило фразу мальчика куда-то вниз, туда, где начинается прошлое.

Илья свое слово сдержал. Первым делом он выучил алфавит, а потом проглотил все детские книжки, которые были в доме. После взялся за учебники, просмотрел их до конца, старательно выводил в уме слова и фразы. Через несколько месяцев его было не узнать. Он стоял перед классом и читал, не запинаясь, отрывок из «Стойкого оловянного солдатика». В тот день мальчик занял второе место по скорости чтения. Валентина Федоровна не верила услышанному. Еще много раз она будет рассказывать об этом случае своим подругам-учительницам, утверждая, что ее уникальная методика преподавания эффективно работает.

Однажды мама вернулась с родительского собрания, на котором ее сына ставили в пример. Она немного покраснела, когда упоминали Илюшу, но ее женское сердце буквально распирало от гордости и довольства. Дома было привычно тихо. Ее сын, если и играл, то почти всегда незаметно. Мужа у нее не было – разошлись, когда Илье исполнился год, но Ирина не беспокоилась о том, что дома может что-то случиться. Она прошла по узкому короткому коридору, зашла в

небольшой зал, а потом приоткрыла выкрашенную дешевой белой краской деревянную дверь в спальню. Там стояли три кровати, буфет цвета гречишного меда, в углу лежали старенькие вещи, упакованные в серые мешки. По всей комнате были расставлены игрушечные солдатики, которых в доме водилось несметное количество. Рассредоточенные по углам, на краю кровати, тумбочке, полу, они застыли в самых, на первый взгляд, немыслимых для живого человека позах. Один выставил ружье и замер, другой замахнулся кулаком и застыл, словно замороженный Хан Соло. Кто-то поднял коня на дыбы, готовый раздавить любого, кто окажется под животным. Сражение в самом разгаре.

Мама не понимала, кто друг или враг, но мальчику все было предельно ясно. Те, кто на кровати, сделали нежданный бросок через горы, и вышли на равнину (к тем, кто на полу). Несмотря на то, что у равнинных войск было преимущество – конница и тяжелое вооружение, удар в спину был настолько внезапным, что армия потерпела поражение. По всей комнате также валялись разбросанные книжки, которые одновременно служили укрытием для войск и казармами.

– Война и книги – вот твоя страсть, – сказала мама сыну, который добивал остатки вражеских войск.

Мальчик пропустил эти слова мимо ушей, но потом мать еще не раз повторяла ему эту фразу.

– Война и книги, – внезапно громко произнес Илья в камере СИЗО, тем самым заставив своего сокамерника встре-

пенуться.

– А? Что? – спросонья забормотал тот, оглядываясь по сторонам, не понимая, где находится.

Кизименко заулыбался: неловко вышло, но забавно. В голове чуть просветлело. Первое беспокойство от знакомства с Лёхой утихло. Тот замялся, наконец-то проснулся. Взглянул на Илью и, не зная, что сказать, спросил то ли самого себя, то ли собеседника:

– Интересно, который сейчас час?

Посмотрел на руку – часов не было: все лишние предметы забрали при досмотре.

– 12:50, – уверенно ответил Кизименко.

– Сколько? Да ты гонишь, откуда знаешь? – с недоверием взглянул на него Лёха.

– Ну, смотри, меня из милицейского участка забрали в 11:15. Везли до Лукьяновки где-то полчаса. Потом 15–20 минут оформление, меня привели в эту камеру пусть в 12:05. Пока я тут осматривался, привели тебя – где-то в 12:35. Мы несколько минут поговорили, и ты задремал. Значит, сейчас 12:50, – провел нехитрые расчеты Илья.

– Э-э, а у тебя что, часы есть, братэло? – задал логичный вопрос собеседник.

Илья еще раз улыбнулся.

– Нету, я время считаю, – разоткровенничался он.

– Гх, как карты, што ли? У тебя шо, минуты кропленные? – усмехнулся Лёха, но не стал вдаваться в подробности.

А между тем стоило. С того момента как первый заключенный огласил время, пройдет три часа. Эти часы станут для них столетиями. Будто в незримой для себя ипостаси, время потеряет ритм, изменит свое течение. Ни Илья, ни тем более Лёха еще не догадывались, к какой череде нагромождений приведет их этот день. За эти сто восемьдесят минут произойдет то, что никогда не смогло бы случиться за всю их долгую жизнь.

Где-то в голове у Ильи щелкнул незримый часовой механизм. С каким-то неведомым для себя жгучим желанием или первобытным зовом он начал отсчитывать время, складывать в одну кучу ворох секунд, подкидывать дрова минут, чтобы позже в один миг поджечь их, не задумываясь о последствиях.

Итак, минута первая. Оба ничего не говорили. Илья подумал, что нужно помалкивать. Воспоминания о фотографии вызывали в его сердце смуту, а Лёхе просто нечего было сказать. Он всегда находился как бы между двух реальностей, распластывался мостом в мирах, где неизменно был чужим.

Кизименко заерзал. Беспокойство охватило его, это чувство он испытывал всего несколько раз в жизни.

Однажды, когда ему исполнилось 15 лет, он ощущал подобный трепет. День на календаре – 26 мая. Полдень, воскресенье.

– Моя первая книга, которую я читал сто раз, не меньше,

называется... Только не смейся, – говорил он своей первой девушке Тане.

– Хорошо, не буду, – улыбалась она и смотрела на него с обожанием.

– Это «Карлсон, который живет на крыше», – проговорил он и сам усмехнулся. – Знаешь, я ее столько раз читал, что, бывало, сажусь обедать, открываю с любого места и жирными руками перелистываю. Из-за этого она вся была в расплывшихся пятнах.

– Я даже не могу определить, смешно это или нет, – выдала Таня.

– Не знаю, что я там искал. Наверное, просто Карлсон – это тот, кто всегда живет над чем-то – над миром, крышами, пределами людского существования. Может быть, я хотел быть таким, – произнес парень и замолчал.

С Таней он познакомился в библиотеке – захудалой, небольшой, в питерском районе Ржевка-Пороховые. Пыльные ряды хранили в себе журналы 90-х годов – «Звезда», «Нева»... По каким-то неведомым причинам библиотекари не выбрасывали старые издания, хотя их давно списали из библиотечного фонда. В тот день он ходил между полками, доставал потрепанные, пожелтевшие журналы, читал оглавления и усмехался. «Один день Ивана Денисовича», эмигрантские записки Сергея Довлатова, стихи Евгения Рейна – все это в одном месте он еще никогда не встречал. Позади себя услышал женские голоса – зрелая тональность слов,

будто звуки старого музыкального инструмента, и звонкие, как журчание ручья весной, нотки.

Илья выглянул из-за стойки с книгами. Молодая девушка, с виду на пару лет старше его, теребила в руках толстую книгу, смотрела на страницы и о чем-то спрашивала у библиотекаря. Та указала пальцем в сторону Ильи. Он моментально спрятал голову за стойку и растерялся, будто его пристыдили. Через минуту Таня уже стояла возле Кизименко и искала нужный ей том. Парень с интересом разглядывал ее: голубые глаза, прямой нос, длинные светлые волосы, волнами спадавшие на плечи. На переносице – дешевые пластиковые очки. Длинная сиреневая вязаная кофта прикрывала талию, но видно было, что девушка худощавая.

Илья неловко положил журнал на полку, инстинктивно пригладил волосы на голове – в лучших традициях древних русских купцов, которые хотели обратиться к даме, – и проговорил: «Вам помочь? Я знаю об этих книгах почти все».

На следующий день состоялось их первое свидание. Кизименко, как обычно, пришел раньше. Он всегда приходил раньше, как будто торопился успеть прожить свой срок жизни, боялся, что она утечет сквозь пальцы, брэнностью и тщетой. Таня жила недалеко – на Краснопутиловской. Он стоял перед обшарпанным подъездом хрущевки: разбитая лавочка, перевернутая урна, невысокая деревянная свинцово-серая оградка, скрывающая черную потертую пядь земли, на которой росли, точно на лысине, тонкие волоски зе-

ленеющей травы. Весенние лучи солнца падали на коричневую грязь, осветляли ее, а рваные лужи после дождя отражались световыми бликами на бурой ржавчине железных дверей подъезда.

«Как же все убого, разбито, разрушено даже без разрушений, – думал он. – Создано уже разрушенным – вот в чем парадокс. Почему так? Что в России ни делай, какой дом ни выстраивай, выходят рухлядь и развалины. Словно разруха и была спроектирована. Нужно строить все заново, строй прогнил. Необходимо что-то неординарное, мощное, все сметающее на своем пути. Революция!»

И тут дверь распахнулась – и показалась девушка. В тот вечер они гуляли по старому парку, покрытому извилистыми асфальтированными дорожками, как паутиной. Люди, по идее, должны запутаться в линиях асфальта, которые внезапно закруглялись, заплетались в диковинные узоры. Они гуляли по дорожкам, говорили о бесконечных возможностях языка, о том, что человек уже заранее запрограммирован на понимание символов и объектов.

– Ты знаешь, что младенец может различать живое и неживое? Откуда ему это знать? Он еще и сказать ничего не в силах, а тут – нá тебе, осознает: мама живая, резиновая игрушка – нет. Думаю, что с самого начала в человеке заложена программа, основа, матрица. Мы можем понимать вещи, не понимая их. И только потом приходит их определение – на разных языках. Младенец понимает, что вот на картинке

слон, а потом, спустя годы узнает, что слон называется слоном. Название – это формы, а в нас прошит код естества вещей, – рассуждал Илья.

– Ух, ты слишком все усложняешь, разве ты не думал, что программа пишется в тот момент, когда и считывается? Это неостановимость жизни, она сама себя создает в единственный момент, который есть у нее, – в настоящем. Будущего нет, ведь нет переживания себя, а прошлое навсегда останется только тем, что мы прочувствовали. Жизнь – это чувства, собранные, как копна пшеницы, – отвечала ему Таня.

Илья смотрел на нее и удивлялся, как рассуждает эта девушка. Он еще не задумывался о женитьбе, но жажда женщины и вечное влечение к противоположному полу не давали ему покоя. Не раз, подпитываемый юношескими гормонами, он бродил по полуночному Питеру у грязновато-серой фольги Невы. На поверхности воды виднелись отражения фонарных огней, напоминающие яичный желток. Вдалеке темнели горбатые очертания поднимающегося моста. Илья прогуливался вдоль железной плетеной ограды у реки и спрашивал небеса, почему так одинок. И вот то ли небеса ответили ему, то ли просто пришло время – он разговаривал с Таней о чем-то большом и важном.

– Знаешь, есть такая шутка, что у рыбок в аквариуме памяти хватает ровно на восемь секунд. А когда они расходятся в разные стороны, то забывают друг друга и вновь сближаются, опять знакомятся. Но я думаю, что это не шутка: че-

ловек утром и вечером хоть на немного, но отличается от себя. Я где-то прочитал, что всё постоянно меняется. Мы становимся другими уже через несколько часов, не говоря уже о годах. Как корабль Тесея. Слышала о таком? Мы вновь и вновь перерождаемся, как клетки организма, которые сменяются каждые семь лет. Так и наша душа. Давай знакомиться каждый день, – с чувством предложил Илья.

Но вспомнить, что ответила Таня, Илья не успел.

Дверь в камеру СИЗО внезапно открылась, и на пороге возник третий узник. Немного потоптавшись у входа в «хату», новенький арестант прошел к окну под взглядами двух заключенных. Постоял под зарешеченным окошком, потом театрально развернулся к ним и громко представился:

– Ну, здрасьте, молодежь! Меня зовут Пётр Никитич, – приветствовал их седовласый старец с бородой до груди и в сером мятом пиджаке с огромным кровавым пятном на левой стороне.

## Глава 3

Появление третьего заключенного оказалось столь же неожиданным, сколь и ожидаемым. Илья и Лёха почти не разговаривали, каждый погрузился в свои мысли, болото прошлого. Так должно было продолжаться долго, но явление старика народу смешало все карты. Дед размашистой походкой направился к нарам, попутно бормоча себе что-то под нос.

«Забавный старик», – подумал Кизименко, наблюдая, как тот снял потертые коричневые туфли и почесал ногу через мышиного цвета носок с рваной дыркой, будто прокушенный зубами. Из носка сыпалась всякая требуха. Парочка следила за необычной процедурой удаления соломы, песка и еще бог весть чего. Казалось, все это высыпалось из тела старца, будто он распадается на кусочки, а потом собственноручно эти кусочки пускает по ветру. Впрочем, дед был слишком занят, чтобы думать о высоких материях или поэтичных образах. В его голове прокручивалась вчерашняя сцена, после которой у него, собственно, и появился кровавый след на пиджаке.

– А, сыночки, прошу прощения, устроил я тут проверку санэпидстанции, – вдруг громким голосом заговорил Пётр Никитич. – Я в ваших краях впервые, занесла меня нелегкая, ешкин кот!

Тут старик сделал такое движение, словно рубанул шашкой по врагу.

«Дед, наверное, еще белогвардейцев помнит, того гляди папаху вытянет, начнет напевать революционные песни и плясать „Яблочко, да на тарелочке“», – улыбаясь подумал Лёха.

В тот момент, когда последняя буква мыслей Лёхи, как уходящая электричка, мелькнула в сознании, дед повернулся в его сторону. Затем отложил ботинок, слегка погладил тупой край своей снежной бороды и произнес суховатым голосом всего лишь одну фразу:

– А ты, сынок, считаешь, что я еще революцию помню? – прокаркал он и внимательно посмотрел на молодого человека.

Сказать, что слова деда шокировали парня, – значит, просто деликатно промолчать. Фраза пожилого заключенного, подобно петарде, взорвалась в груди Лёхи – и тот подскочил на месте.

– Ка-а-к. Не понял. Дед, а как это ты... – больше он не смог ничего сказать, запнулся на полуслове.

Довольный старик прищурил один глаз, словно целился из трехлинейки, а потом незримо и неслышно «пальнул» – коротко выдохнул.

Илья наблюдал за сценой «обстрела» с нескрываемым интересом. Со стороны это выглядело так: дед копошился в своей соломе, осматривал дыру на носках (причем, лишь

часть серой ткани прикрывала мозолистую пятку старика), а потом вдруг повернулся к соседу и сказал что-то о революции, мигая глазом при этом, как старый облезлый дворовый кот. Вся эта сцена заняла буквально пятнадцать секунд, прибавив к общему подсчету несколько рваных мгновений.

Минута пятая. Дед вычистил обувь, а потом обулся, даже прошелся по камере, словно модель на показе мод, покрутил носком туфля, будто бы видел ее в первый раз. Теперь его можно было рассмотреть лучше. Как оказалось, у Никитича были чистые, как голубое утреннее небо, глаза. Длинные седые волосы ниспадали на плечи. Ухоженная борода блестела ледяными полосами, ее края аккуратно подстрижены вертикальным прямоугольником, схожим на лопату. Серый пиджак, потертый на рукавах, тем не менее, выглядел добротным. По одежде можно было предположить, что старческие руки каждый вечер бережно укладывали костюм, вешали его в шкаф, нежно поглаживали, словно пожилую, но такую дорогую сердцу женщину.

На брюках виднелась стрелка. А если точнее, это была разделительная полоса, проведенная сотни раз утюгом. Казалось, до конца жизни ничто не сможет сломать эту прямую и несгибаемую линию на ткани.

На туфлях заметны остатки обувного крема. Кое-где кожаная поверхность, натертая до блеска, отражала мир в своем искаженном отображении. И поди разберись, какой мир на самом деле: такой, как мы его чувственно осознаем, ося-

заем, видим глазами и слышим ушами, или, может быть, мир по-настоящему другой – искривленный в блестящей коже, уродливый и красивый одновременно.

В общем, дедушка выглядел потрепанным, но опрятным. Можно было предположить, что это преподаватель истории, давно вышедший на пенсию, вдруг решивший посетить СИЗО, чтобы направить заблудшие души на путь истинный и чистый. И только две детали портили общее впечатление – рваный носок, оказавшийся не в паре с другим носком ни по цвету, ни по количеству дыр, и яркое, свежее, едва засохшее кровавое пятно, расплывшееся на половину левой стороны пиджака.

– Никитич, ну ты красавец, канешна, – подключился Лёха и тут же съязвил: – Только вот че ты здесь оказался, а не в доме престарелых?

Дед повернулся к вопрошающему с таинственной ухмылкой, а потом подсел к нему и, как обычно, громко сказал:

– Веришь, сынок, бес попутал.

А попутал бес Никитича так. Однажды, когда ему исполнилось семьдесят лет, вышел он на крыльцо своего дома в небольшом, на полторы тысячи домов, луганском селе Большаякаменка. При въезде в поселок возвышалось заброшенное здание. Серый с синюшными переливами некрашенный деревянный забор: ограда почти рухнула, по краям двора осталась пятерня досок, на которых, будто от холода на пальцах,

проявлялась бледная синева. Дальше – маленький пруд, а справа от него хатенка, на крыше – потрескавшийся шифер, ставший от времени светло-бежевым с нотками желтизны, выбитые окна с торчащими остатками стекол, как прогнившие зубы старика, да покореженные железные ржаво-красноватые двери. В доме когда-то жил дед-шахтер, да спился под конец жизни, запустил себя и хозяйство. А потом, как бывает в селе, угорел: в угольной печи забились проходы (кирпич выпал) – и печная гарь заполнила дом. Задохнулся несчастный. И было тому погорельцу ровно 70 лет, прям как тогда Никитичу.

Итак, Никитич вышел во двор, а у ног крутился пушистый котяра со слипшимися патлами, которого, как и положено в селе, звали Венька. Всех котов в доме деда звали Веньками. Откуда взялось это имя? Вероятно, кто-то из дальних предков котяры был похож на веник – такой же рыжий, почти желтый. Или, может быть, родичей кота звали Вонька, потому что уж очень они воняли: любили поваляться зимой в тепле, в свинарнике. Как бы то ни было, кот терся о ноги Петра Никитича, как нечто вечное, постоянно перерождающееся, – признак неизменности среди затхлой сельской бренности.

– Слышь, Маруся, а помнишь погорельца? Вот, думаю о нем, – поделился дед мыслями с женой.

Та вышла во двор, вытирая руки, испачканные в муке, о фартук. Маруся – женщина лет шестидесяти пяти. Когда ей

стукнуло двадцать два года, она пошла работать на шахту бухгалтером. Тогда-то и заприметил ее молоденький парень из отдела статистики.

– А я пухлая в теле была, прям загляденье. Лицо румяное, коса до пояса, – рассказывала она о себе бабкам-соседкам. И обычно после этих слов глубоко и грустно вздыхала. В каждом кубическом сантиметре выдоха – неисчислимый объем сожаления: по утраченной юности, жизни, которая, как муха, что назойливо крутилась вокруг, да неминуемой осенью засохла под оконным стеклом.

– Человек наблюдает за собой как бы со стороны, но не видит себя и проживает задарма жизнь, – рассуждала бабуля о прошедших годах.

А прожила она с Петром жизнь вполне себе простую и невыразительную. Двое детей, трое внуков. Все пристроены – в городе. Дед в юности за ней ухаживал: жили они в разных селах, так он ходил пешком по пятнадцать километров, высматривал ее в окне, кидал камушки.

– Иногда приходит ко мне, извещает о своем присутствии – камешки кидает в окно и стук, стук по стеклу. Как по сердцу, я слышу звон, а сама вся почти дрожу, – говорила она соседке Нюре, а та послушно кивала головой.

А что сейчас? Маруся утром встала, кур, гусей покормила, растопила печь в летней кухоньке, свинье жрать поставила, а дед пока возится со своими кроликами. Вот вчера пятеро дохлых достал из клетки: мрут кроли, сволочи, как мухи.

Как вышли на пенсию, всего и делов-то – внучков ждать да животинку кормить.

– Жизнь пуста, как пуста луна, – любила говорить Маруся, а затем утирала платком лицо, покрытое сетью извилистых, как паутина, морщин.

А Петро вспомнил, как, бывало, придет к ее дому, смотрит в окно, а она мелькает там тенью, да только большущий откормленный кот сидит перед стеклом, и маячит, хвостом нервно подергивает, важничает – закрывает весь вид.

– Вот паскуда мохнатая, шоб ты провалился, гад, – бормотал Петя и смотрел по сторонам, чем бы запустить в ленивое животное.

Под рукой, как назло, ничего не было, кроме полена, которое, казалось, приросло к ограде, еще чуть-чуть – и пустит корни. Пётр в сердцах трехэтажным обкладывал наглого кота, но тот смотрел на него довольным и вызывающим взглядом: мол, что ты, человек, мне сделаешь. А потом подмигивал слегка косым правым глазом.

– Ах ты, подлюка, глазки мне еще строит, решил поиздеваться по полной, – негодовал Пётр.

Он наклонился, пошарил по земле, нащупал пару камней и, прицелившись, кинул в кайфующее животное. Камни полетели точно в цель – испуганный кот дал деру, а напоследок жалобно протянул пару проклятий на своем кошачьем языке. О, смотри, и Маруся выглянула!

Когда появился первый ребенок, Петру как раз исполни-

лось тридцать лет.

– 1 и 30! Это ведь красиво, – говорил он традиционному коту Веньке, который терся о ноги хозяина и безразлично мурчал. Любил Пётр круглые и понятные числа.

А когда оставалось два года до тридцати пяти, он решил завести второго ребенка, мол, эти две цифры отлично смотрятся на фоне друг друга. Сказано – сделано.

Первый сын женился, и Никитич заговорил о внуке. Так к пятидесяти годам появился первый внук, а к семидесяти – уже трое. В общем, круглые цифры возбуждали Петра не хуже красотики по телевизору в передаче для тех, кому за восемнадцать.

Но в старости окутала деда своим клетчатым одеялом печаль. Все свои символы он исчерпал, а на душе скреблись мыши, к которым нынешний Веня был равнодушен, а только заглядывал в глаза хозяина, пытаясь вызвать жалость к себе, одинокому волосатому сиротинушке.

И вот в свой день рождения Петя вспомнил об угоревшем деде-шахтере.

– Так ты помнишь погорельца? – еще раз спросил Никитич Маруську.

– Да что ты заладил? Помню я его. Лет семь всего-то прошло, как помер. Волочил старикан левую клешню, говорил, на войне воевал. Герой, который нуждается в ласке. Врал, паскуда, а вон Нюра повелась, – ответила жена.

И, не вдаваясь в подробности, что же там случилось с

Нюркой, собралась обратно в дом.

– Ага, ага. Повелась, отдалась, – пробормотал дед и запустил руку в седую бороду, как будто в снопе выцветшей пшеницы искал остатки зерен.

Кстати, об этой роскошной бороде у Никитича есть длинная и незабываемая история. Если хватит времени, он успеет ее поведать арестантам. А пока его рассказ застрял на треклятом коте и погорельце. После того как бабуля не проявила интереса к вопросам деда и зашла в дом, тот незаметно вышел со двора.

До конца жизни Маруся, а в миру Мария Александровна, будет жалеть, что торопилась тогда на кухню. Слышно было, что на плите что-то подгорало, тесто нужно было осадить, да и на вечер вечно голодному кабану ничего не сварено. Впрочем, весь этот список бытовых дел ни в коей мере не послужил бы ей оправданием перед своей же совестью: не доглядела, суетилась и проч. Как через полгода в местной тесной церквушке говорил ей толстенький круглолицый батюшка с редкой черненькой бородкой: «Не признала ты Христа в нищем, Маруся. Не увидела ран от гвоздей на его руках, не служила мужу, как положено добропорядочной христианке».

Умывалась она слезами, да все поздно – время-то не вернуть: деда в тот трагический день проглотил проем калитки, словно его и не было. Ушел из дома. С того утра и начинаются хождения Петра Никитича.

А задумал он их давно. Первым делом начал собирать

деньги, по копейке откладывая в длинные растянутые женские колготки, которые висели на чердаке, – в былые дни там сушились лук да кочаны кукурузы. Забирался Пётр по хилой шатающейся деревянной, выкрашенной в мертво-серый цвет, лестнице на чердак, крестил, как мог – и голову, и пузо. И мужские причиндалы осенял на всякий случай крестным знаменем – они хоть и работали со сбоем, как незаряженное ружье, раз в году, но жалко все-таки: вдруг в хозяйстве пригодятся.

Подумал об этом Никитич, усмехнулся себе в пышную бороду, кашлянул, как ворона, и поставил ногу на первую ступеньку дряхлой лестницы.

«Шоу начинается, господа», – наверное, сказал бы он, если бы жил где-то на Диком Западе. А потом смачно сплюнул бы остатки жевательного табака на дырявую, пересушенную солнцем, землю. И ударил бы розгами лихую костлявую бурую кобылку, которая взбрыкнулась бы и понесла всадника в закат томатного цвета. Да только вот нет для Никитича ни запада, ни востока, ни, тем паче, юга. Не думал он так. Не говорил так никогда даже приблизительно. Весь мир для него – это сплошной север. Одна нераздельная зима, без тепла и теплого света. Единственное, что грело местных мужиков, совсем не солнце, а дурманящая и уносящая в другие края водка. Или на худой конец самогон. Шахтеры – через одного алкоголики. Частенько возвращаются после смены пьяные, еле стоят на ногах, а то и не дойдут – плюхнутся где-то на

лужайке перед домом. Человек под забором – вот географические координаты, верный знак местности.

Дальше – больше. Никто не узнает полного вкуса жизни, если не попробует хоть раз шахтерской бурячихи. Это самогон, сваренный из буряка, ужасно вонючий, красного, как кровь, цвета. Достаточно один раз хлебнуть пятьдесят грамм – и целый день отрыжка буряком в горле стоит, словно неделю питался только этим овощем. А пьют не потому, что не хотят видеть этот мир, – наоборот, очень хотят разглядеть его, но не могут. Сколько раз наблюдал Пётр погасшие лица жителей Донбасса. Тяжелый физический труд, как в рабстве. Случалось, ведро пота сойдет с шахтера, прежде чем к нужной выработке придет, а потом еще работает, тягает железяки на горбу, потому что все технологии 1960-х годов. Это в XXI веке! Потому и выражение лица такое страшно замученное, в глазах прячется нечто большое и пугающее – невыразимая тоска от секунд, тягучих, медленных, пустых.

Сам Никитич – конторский, так называлась администрация на угольном предприятии. Все время работал в одноэтажном здании администрации, как сказано выше, в статистическом отделе. Это здание состояло из одного длинного коридора, который начинался от входа и заканчивался где-то вдалеке туманным окном. По обе стороны были натяканы кабинеты. Зачастую днем коридор не освещался, поэтому вошедший видел только мутную оконную даль.

Кабинет Петра находился почти посередине постройки.

Каждый день он несколько раз выходил и заходил в кабинет, направлялся к выходу, но очень редко – к окну. Там был архив. Обычно ходила туда грузная Настасья Ивановна. И то ради того, чтобы поболтать с местными бабенками, а заодно и надобные документы захватить.

Иногда Пётр чувствовал, как какая-то неведомая сила притягивает его к мутности окна. Он словно хотел проскользнуть сквозь эту плотную матовость света, пропустить его через себя, очиститься от внутренней грязи. Откуда в нем накопилось столько темного, вязкого? Он не мог ответить. С отвращением смотрел на испытые морды шахтеров, думал, когда же наконец-то сможет не видеть мрачных от тяжести существования лиц. Этих людей ничто не пугало, даже сама смерть. Что там говорить? Для многих смерть – это избавление от ада, где они находятся. Бездна вечного тления – единственная надежда.

С годами Никитич привык к миру, к своей жизни. Кто его знает, может, и цифры он придумал, чтобы найти математическое оправдание нелогичному хаосу бытия. Но спустя много лет стало совсем невмоготу.

– И тогда я собрал деньги, одежду. Все сложил в рюкзак и спрятал в доме погорельца, туда все равно давно никто не заглядывал: боялись призраков. И уехал, – рассказывал дед арестантам в СИЗО, а сам глухо хмыкал в бороду.

– Ну, ты даешь, дедуган, – заинтересованно отозвался Лё-

ха. – Только хрен тебя поймешь, почему все-таки сюда попал, черт ты бородатый!

Никитич заулыбался в ответ, словно что-то знал, и это знание не позволяло ему расслабиться и раскрыться в один момент. Илья судорожно придумывал вопрос и смотрел на деда, чтобы ошарашить его, застать врасплох. А тот развернулся, поставил ногу на нижние нары, кряхтя, попытался поднять свое старческое, высушенное тело.

– Эй, дед, куда прешь? Может, поменяемся? – заговорил Илья.

Но Никитич в ответ забубнил, что не тебе, молодой сосунок, указывать, куда ему, старому хрычу, свою тощую задницу поднимать. Кизименко от незлобной брани старика заулыбался, дед подкупал своей простотой и добродушием.

Лёха смотрел, как дедуля карабкался наверх, мостился, как мог, ерзал туда-сюда. Поглядывая на пожилого человека, он пытался понять, сколько ему лет, если он так проворно лазит по тюремным нарам.

«Наверное, шестьдесят восемь лет? Не меньше!» – подумал Лёха, посматривая на второй этаж нар.

А в это время Пётр Никитич с трудом уместился, снял пиджак с кровавым пятном, аккуратно положил его рядом, будто любимую женщину. А потом наклонил голову и обратился в сторону сокамерника:

– Да, кстати, сынок, мне семьдесят один год вчера стукнуло, – медленно проговорил он и наклонился, отчего стало

отчетливо видно желтое старческое лицо с хитрой улыбкой.

В глазах Лёхи помутнело, словно кто-то сбил резкость на хрусталике. Он не верил своим ушам – не мог представить, что такое может произойти. Мягко опустился на лежак, устался в днище второго этажа. И замолчал, шокированный неожиданным открытием, о котором и рассказать кому-то опасно: упекут в сумасшедший дом.

А между тем Илья наблюдал за этой сценой без особого интереса. Дед наверху успокоился, перестал шуршать. Сокамерник опять замолчал, говорить никому не хотелось. Кизиленко закрыл глаза, какая-то тяжесть навалилась на него, тело стало тонуть в трясине сна. Единственное, что он заметил, перед тем как задремать: с момента появления деда прошло всего лишь пятнадцать минут.

## Глава 4

– Я сначала дам тебе в рожу, да так, что ты с копыт свалишься. Ты че, не понял, чмошник? Сюда иди. – Высокий худощавый пацан с чуть растопыренными ушами, по прозвищу Муха, стоял над Ильей, словно дерево над кустом.

Дело было в шестом классе, на уроке по русскому языку. По какой-то неведомой причине в школе Илья попал в категорию изгоев. Возможно, из-за своего спокойного характера. Когда все дети носились, как чумные, кричали и галдели, он тихо сидел за партой, во время урока превращался в статую, послушно складывал руки одна на другую и замирал. Так продолжалось до четвертого класса, когда одноклассники почему-то его невзлюбили, считали слабаком. Он был небольшого роста. Часто, когда на физкультуре выстраивались в линейку, Кизименко занимал третье место сзади. Может быть, причина была в этом или в чем-то ином. Нередко после уроков на него налетала толпа, окружала, а верзила, по прозвищу Кот, тянул его за ухо так, что хрящик гнулся. Хруст стоял такой, словно оставалось две секунды до того, как ухо сломается и кровь брызнет из рваной плоти. Но за миг до травмы Кот отпускал руку, и невыносимая боль пронзала маленького Илью. Он хныкал и под мальчишеский гогот быстро улепетывал домой, как жалкий побитый щенок.

В классе было только три изгоя. Длинный и худой, как

жердь, Вовка Шурупов из нищей семьи. От таких всегда шел особый душок нестираных вещей и затхлой квартиры. Да, у каждого дома есть свой запах. На одной лестничной площадке с Ильей жили пожилые Сердюковы. Много раз мальчик бывал у них в гостях, уже не помнил, по какой причине. Его всегда удивлял порядок в квартире: чистые ковер и подстилки, на столике ничего не валяется, все расставлено по местам. Илья приходил посмотреть на этот упорядоченный уют, и первое, на что обращал внимание, – это запах. В сонме ароматов побеждало амбре размеренности, застоявшейся аккуратности, смесь запахов старой мебели, средства по уходу за ней, тщательно выбитых на улице ковриков и... стареющего тела. О, ничто не источает аромат сильнее, чем тело! Когда человек молод, то старается заглушить свой запах парфюмом, но любой синтетический аромат одолевает постаревшая плоть. Это и есть запах жизни – истинный, концентрированный, последний. Тогда, еще совсем маленьким, он понял, что запах дома – это запах бытия. Если принюхаться, то не нужно никаких слов и пояснений – вот он, человек, в тонких, еле уловимых химических процессах, где всегда побеждает только один явный аромат.

Шурупов отчетливо пахнул нищетой. И стандартный набор: старенькая одежда, взъерошенные, как кусты, волосы, обшарпанный портфель. В списке изгоев класса он был под номером один. Второе место занимал Пашка Сажнев, сын баптистского пресвитера. Тут все понятно: мальчик из веру-

ющей семьи, а в обществе еще устойчива уверенность, что баптисты – это секта. Никого не волновало, что протестантизм – основа западной цивилизации. Так не рассуждали даже взрослые, куда уж детям. Не такой, как все, – значит, чужой. Верный признак стаи. Дети тонко чувствуют чужаков, непонятность. Итак, Пашка числился в рейтинге под вторым номером. А на третье замыкающее место взобрался Илья.

Не святая троица. Били Илюху почему зря. Просто так, ради удовольствия. Нет большего естественного наркотика, чем власть одного человека над другим. Это наслаждение ненасытно, неизлечимо врачами, неизмеримо приборами. Мутузили его каждую неделю, в основном вышеназванный ансамбль, состоящий из животного и насекомого – Кота и Мухи.

Неизвестно, сколько бы длились издевательства, не случись следующее. Как-то Илья, полный детской решимости, раздобыл свинцовый блин, нашел тяжелую медную проводочную катушку из трансформатора, затащил домой и положил это добро под батарею на кухне. На следующий день он встал рано утром, когда мама еще спала, и осторожно пошел к своим железякам. Первым делом размялся, как заправский спортсмен. Потом в одну руку взял блин, в другую – катушку и, тяжело дыша, принялся качать бицепсы. Три раза. Ух, нелегко быть «железным» мужчиной! Мальчик осторожно положил «приборы» для изменения своей жизни и посмотрел на руки – на одной руке от закругленных кра-

ев свинцовой болванки остались яркие и глубокие углубления, похожие на надрезы, а на другой виднелись узкие красноватые полосы, продавленные медной трансформаторной обмоткой.

Через несколько дней мама, услышав чье-то сопение, осторожно заглянула в кухню и увидела сына: тот стоял посреди небольшого помещения, синяя майка спускалась чуть ниже трусов, на лице – гримаса сосредоточенности. Сын выдыхал воздух, как заправский качок, а потом с усилием поднимал тяжести. Наверное, даже не так – противопоставлял чудовищной силе гравитации тоненькие костлявые руки, которые раздирали воздух невесть откуда взявшимися железками.

– Одиннадцать, – на выдохе проговорил мальчик и победно посмотрел на встревоженное лицо мамы.

Сколько раз он так вставал утром? Сбился со счета. Его руки все уверенней поднимали блин и катушку к небу, словно взывая к небесам. Казалось, что это и есть некое обращение к высшим небесным силам – молитва плоти, крови и ржавых, выброшенных металлических изделий. То, что мир не принял, отверг и посчитал мусором, жаждало принятия назад.

Это случилось в один из осенних дней в шестом классе. Перед уроком русского языка Муха ходил между рядами и скидывал вещи одноклассников на пол. Подойдя к Кизимен-

ко, тощий хулиган попытался сбросить его ранец, как вдруг Илья придержал портфель рукой. Муха навис над мальчиком, сидящим за партой.

– Не поня-я-я-я-л. Ты че? – Дитина удивился этому жесту непокорности.

Мол, смотрите: от кого? От ничтожества, червя ущербного, мерзкого живого пятна во Вселенной. Илья встал и оказался напротив верзилы. Тот от удивления еще больше выпучил глаза.

– Я сначала дам тебе в рожу, да так, что ты с копыт свалишься, – продолжал он и пошел на бунтаря, толкнул его в грудь.

Тот отпрянул, но не вернулся на свое место. От такой дерзости у Мухи чуть крылья, то есть руки, не отвалились. Илья снова сделал шаг вперед. В классе все притихли. Учительницы в кабинете не было, поэтому все внимание сосредоточилось на парочке.

Вдруг в лицо Кизименко полетел кулак обидчика, прямо в скулу. На секунду он пошатнулся, а потом опять сделал шаг вперед.

Последовал еще один удар – и тело мальчика отбросило назад. Ему бы сейчас отступить, успокоиться, а там, может, в другой раз занять более выгодное положение и попытаться побороть противника. Но душа изгоя уже рвалась вперед, не желая мириться с отверженностью и унижением. Третий удар. Муха замахнулся во всю длину руки и выбросил ку-

лак в сторону лица противника, даже не целясь. Да и зачем это нужно? Жертва не пыталась укрыться или увернуться. Илья принимал удары со стойкостью бывалого боксера. Откуда такая выдержка? Наверное, никто в мире, в том числе и он сам, не мог бы этого объяснить. С животным упорством он наступал на врага, его останавливали костяшки пальцев, сила толчка отбрасывала обратно, но через минуту непокоренный снова оказывался на линии боя.

Если бы случилось нечто невероятное – образовалась дыра в пространстве и времени, и взрослый Илья очутился бы там, мог наблюдать за этой сценой со стороны, то он, наверное, не узнал бы себя. Каждый удар, оглушающий до искр в глазах, бил не по телу худенького изгоя класса, а по чему-то незримому, находящемуся в сердце, – растоптанному самолюбию, слабой самооценке, хилому «я», – по тому, что долгое время сковывало мальчика, как кандалы, не давало вздохнуть, давило в грудь. И каждый удар разбивал не хрупкую плоть, а ржавые цепи неудачника и горемыки.

Воодушевленный своей стойкостью, Илья в рывке подскочил к обидчику, захватил его голову руками в клешни и принялся бить кулаком по лицу. Вот уже гдегодились утренние занятия! Голова верзилы оказалась прочно зажата левой рукой мальчика, а правой он методично наносил удары по физиономии Мухи. За это время Кизименко успел выкинуть с десятков хуков. Синий школьный пиджак неудобно скомкался на плечах, некогда белая рубашка заляпалась кровью.

Он молотил кулаком отчаянно и безудержно. Так маленький загнанный волчонок может броситься в стаю диких собак и, вцепившись в шею, дико рычать.

– А-а-а, – стонал верзила и неуклюже пытался вырваться, размахивая руками в воздухе, словно подбитая ворона.

Спустя три минуты одна из писклявых девочек, стоящих в коридоре, забежала в класс и коротко протрубила: «Учи-и-и-лка!» Школьники засуетились, но так как драка не закончилась, а только затормозилась, все же не решались разойтись. Вдалеке послышался голос преподавателя. Илья ослабил хватку, а через секунду расцепил левую руку. Муха почувствовал свободу и отпрянул в сторону. Одноклассники сдвинули парты. Илья, судорожно и учащенно дыша, потянулся за своим злосчастным портфелем, который улетел на несколько метров от места битвы. Сражение закончилось.

Прошло два часа. Кизименко открыл дверь и вошел в квартиру, мама возилась на кухне.

– Сынок, ты пришел? Мой руки и за стол, – обратилась она к сыну, но тот ловко прошмыгнул через зал в дальнюю комнату – спальню.

– Ты чего, куда побежал-то? – спросила Ирина. Потом вытерла руки старой замусоленной кухонной тряпкой, по ржаво-бурым дорожкам, неаккуратно выложенным посреди коридора, зашла в зал, а сына нет. Странно, он обычно прямо в школьной форме плюхался на диван со стонами типа «Ма-

ма, как я устал» или «Сегодня ногу подвернул и упал, теперь плечо болит» (скрывал побои). Пройдя по квартире, она нашла сына у окна в спальне.

– Что случилось? – громко сказала мать и подошла к сыну.  
Молчание.

– Почему ты молчишь? – не унималась она.

Мальчик повернулся и показал побитое лицо. У Ирины от неожиданности подкосились ноги, она опустилась на кровать и прикрыла рот рукой, простилав: «О, боже мо-о-ой».

Через час, когда страсти улеглись, Илья стоял в прозрачном полумраке перед «стенкой» – набором мебели, которую купили еще в начале 90-х. «Стенка» состояла из бельевого шкафа, нескольких блоков вместительных антресолей, в дверцах – обычные стекла, которые открывали вид на внутренность буфета. Там была расставлена посуда – чайный сервиз с ярко-красными маками, стройные хрустальные бокалы для шампанского, пузатые фарфоровые чайники. Все это использовалось редко, и было припасено на праздничный случай – юбилеи, дни рождения, иногда для гостей. Этот скарб долго считался критерием богатства семьи родом из СССР. Неизменно в буфете на задней стенке находилось зеркало. И вот Илья стоял в комнате с выключенным светом. Вечерние тени выползали из углов помещения, затемняли мебель, а потом поглощали все больше комнатной материи, которая пропадала во мгле, как в черной дыре. Мальчик всматривался в зеркало, перед которым на стеклянных полочках стояла

толстая посуда и тонкие высокие фужеры, точно с признаками анорексии. На лице страдальца под глазом отчетливо переливался большой синяк, расплывшийся, как чернильное пятно. Илья смотрел на себя и широко улыбался.

С этого дня гонения на него прекратились. Кизименко отстоял в драке возможность называться человеком. С чем это связано? Может быть, с детским максимализмом, где друг и враг, добро и зло, свой и чужой – все аккуратно разложено по полочкам. А может, с чем-то необъяснимым. Он перестал быть изгоем, и до окончания школы его никто не трогал.

А шестнадцатилетнего Муху нашли мертвым в питерской квартире с опустошенным пластиковым шприцем – передоз.

## Глава 5

Пётр Никитич лежал и смотрел в грязный, покрытый мелкими трещинами потолок. В голове мысли порхали птицами, наполняя сознание стаей воспоминаний. А их, как и положено человеку преклонного возраста, накопилось много. Частенько бывало, что дед управлялся по хозяйству, ходил по двору своего дома, присаживался на низкую деревянную скамейку, поправлял ботинки, чистил от грязи, а потом, стоило ему остаться наедине с собой, налетала саранча прошлого и съедала настоящее. О чем он думал? Человеческая память, как шкаф, захламленный старыми вещами, – только опусти туда руку, что-то да вытянешь. Вот и теперь углубился дед в какие-то настолько важные воспоминания, насколько и ненужные – в голове поток, да только не видно берегов.

Лёха встал, пошел к параше, а через полминуты сел на нары.

– Какие вы все молчаливые, – сказал он и с укором посмотрел на сокамерников.

Илья усмехнулся.

– Да какие есть, выбирать тебе не приходится, – ответил он.

– Есть – это хорошо, сейчас бы поел, – вдруг отозвался дед со второго этажа.

– Да куда тебе есть, дедуля? Ты вон одной ногой уже про-

буешь на прочность потусторонний мир, – продолжил разговор Лёха, лишь бы поболтать да развеять скуку.

Никитич оживился, засопел в бороду какие-то слова, которые запутались в седых волосах, словно попали в плен. И только глуховатое однотонное мычание вырвалось из цепких объятий волосяного покрова старика.

– Ты что мычишь, дедуля? Расскажи о своей жизни. Судя по твоему возрасту, тебе, как Толстому, есть, что рассказать миру, – еще раз подключился к разговору Кизименко.

Дед зашуршал, попеременно вздыхая, как дворовый пес. Затем выкинул со шконки ногу, потом вторую и осторожно, не забывая громко кряхтеть, приступил к процедуре опускания своего брэнного тела на не менее брэнную землю.

– О, спустился с небес, назаретское чудо, – съязвил Илья, наблюдая за Никитичем, фигурой третьего заключенного.

– Что ты там, сынок, мелешь? Я из Большекаменки, – опустил свою старческую плоть на нары несостоявшийся Спаситель.

Илья смотрел на старика с нескрываемым интересом. Ему нравилось, что тот в таком возрасте активен, за словом в карман не лезет, да и злоба не рвется из щелей души. Дед-добряк.

Приземление прошло благополучно, троица наконец-то уселась друг напротив друга. Двадцать две минуты.

– Вот ты такой шустрый, не даешь деду отдохнуть, а может, он в последний путь собрался, маршрут просчитывает, –

съехидничал Никитич.

– Да какой последний? Ты посмотри: сейчас бабу тебе привести, так ты ее оприходуешь, как молодой, – внезапно выпалил своеобразный комплимент Лёха.

– Ну, ты это, конечно, загнул, но приятно загнул, – широко заулыбался старик, так, что края его бороды расширились, подобно театральному занавесу, обнажив рот с розовыми деснами и с редкими корявыми зубами.

– А кстати, мы ведь толком не познакомились. Давай, молодежь, расскажите чуть о себе, – предложил дед.

Лёха посмотрел с интересом, а Илья не желал раскрывать свое прошлое. Возникло неловкое молчание, обычное между незнакомыми людьми.

– Хорошо, давай я начну, – согласился Лёха и почесал голову. – Я родился под Киевом, в Ирпене. Вырос уже на Донбассе, куда отец с матерью перебрались, когда мне было 9 лет.

– Все? Негусто, – модерировал беседу дедушка, а потом обратился к Илье: – А ты откуда?

– А все просто – родом из Питера, недавно переехал на постоянку в Украину, – отделался тот одной фразой.

– А почему переехал? – поинтересовался Лёха.

– То да се, – попытался отнекиваться Кизименко.

Это выглядело подозрительно, казалось, что Илья хотел что-то скрыть, недосказать.

– Не понял, – встрепенулся донбассовец. – Ты что, от Пу-

тина сбежал, либерал хренов?

Его голос вдруг приобрел неожиданную жесткость. Вот так легко, почти непринужденно Лёхе удалось зацепить какой-то тяжелый эмоциональный пласт. Если точнее, он ненадолго притронулся к чему-то болезненному, покрытому несколькими слоями бинтов, но внутри ноющему. К ране в душе.

– Слушай, а какая тебе разница? Ну, по большому счету, тебе ни холодно, ни жарко из-за того, почему я уехал из России, так? – встал в позу Ильи.

– Так-так, – произнес его соперник и ненадолго задумался.

Дед слушал диалог молодых заключенных с любопытством, думал, как бы вставить свое слово.

– А вот я... – сказал Никитич, но договорить ему не дали.

Вдруг Лёха подорвался со шконки, прошелся к окну, будто хотел оттуда выпрыгнуть. Но куда там: темно-угольное железо решеток надежно закрывало единственный путь на волю. Все это действие заняло не больше трех секунд. Он изменил свой курс, вернулся к собеседникам и громко повторил вопрос.

– Так, может, ты, сука, еще за украинскую власть? – навис Лёха над оппонентом.

Ответить тот не успел, дед опять попытался перехватить инициативу в свои руки, но хватка уже не та, поэтому он успел вклиниться в беседу лишь на мгновение:

– Когда я был таким молодым, как вы...

– Тебя это, слышь, волнует? – Илья встал и оборвал старческий спич.

Два мужика оказались друг напротив друга, и казалось, что расстояние между ними сузилось до минимума и теперь можно услышать дыхание соперника. Оба коренастые, небольшого роста. Лёха чуть повыше, поэтому, возможно, преимущество было на его стороне. Он уже сжал кулаки и готов был к драке.

– Э, петухи! Хорош вам, – проговорил Никитич.

Последняя фраза о представителе птичьего мира в заведении не столь отдаленном пришлась не совсем кстати. Лёха повернулся к старику:

– Дед, помолчи! Че ты лезешь со своими тупыми словечками? – перевел часть гнева на пожилого сокамерника.

– Пусть гундит, тебе-то что? – защитил деда Кизименко.

Дело принимало скверный оборот, напряжение между ними усиливалось.

– Меня только одно интересует: какова хрена ты уехал из России? – повторил вопрос Лёха.

В ответ Илья играл желваками. Подбирал слова. Драться сейчас ему не хотелось, да и не видел смысла. Противник все так же агрессивно смотрел на него, будто пытался докопаться до глубин, таящихся в его душе.

– Ладно, не твое это дело, – решил Илья и отступил, сел на нары.

– Как не мое? Сейчас тут все мое. Ты, сука, что-то скрываешь, – не унимался Лёха.

– Ребята, хватит вам ерепениться, – успел наконец-то вставить четыре слова дедуля.

– Я сказал, что то, что происходило со мной, это моя жизнь. Мне ею распоряжаться, – отбивался Илья.

– Твоя будет, как выйдешь отсюда, – продолжал оппонент. Он стоял над питерцем и, казалось, был в мгновении от того, чтобы наотмашь ударить его по лицу. Еще полминуты Лёха возвышался над Кизименко, который упорно смотрел вперед, так и не объяснив, почему покинул Россию.

– Ну ладно, я еще до тебя доберусь, – прорычал донбасовец.

Он сделал резкий шаг назад, обернулся вокруг себя и даже выкинул руку в пустоту. Напряжение немного ослабло, противники пока не решились мериться силами.

Лёха отступил, сделал еще два шага в сторону окна, попытался рассмотреть небо. А оно, натертое до синевы, в рваных пуховых облаках, нависло над маленькими людишками, искавшими выход для своей ярости и злости. Пётр Никитич, увидев, что драка не состоялась, облегченно вздохнул. Меньше всего он хотел сейчас, чтобы два обозленных мужика избивали друг друга, ведь сам недавно побывал в подобной передраге.

– Ну, вот и хорошо, ребята, морду набить вы еще успеете, чай, никуда теперь не торопитесь, – проговорил дед.

Его слова всосал вакуум тишины, не оставив и следа от звуковых волн. На пару минут молчание растеклось по камере. А потом Лёха хмыкал, разгоряченный незавершённым конфликтом.

– Вот скажи, дед, ты из Донбасса. Поддерживаешь «укропов»? – попытался пристать он к старику.

– Я, сынок, сам себя поддерживаю, – отшутился тот.

– Да? А я скажу, почему я так злюсь. Ровно два года назад «майданутые» в Киеве затеяли пляски и песни, видите ли, Янукович их не устраивает. А потом все полетело в тартарары. В пропасть, дед. Ничего в мире не проходит бесследно, но, сука, мы пострадали, как никто другой. Ты думаешь, почему я тут волосы на жопе рву? – спросил он Никитича.

– Ну, почему? – подыграл ему старикан.

– Да по одной простой причине: после «майданутых» началась война и забрала у меня все. Слышь, ты, – Лёха обратился к Илье, но тот сделал вид, что не слышит, и спокойно лег на нары. – Как мы жили? Худо-бедно, а потом – полная разруха. Ты знаешь, скольких моих товарищей убили на войне?

Дед молчал, в душе уже несколько раз пиная себя коленкой в пах за то, что продолжил разговор.

– Сотни! Сотни, падла, мужиков, лежат в земле и гниют, потому что кто-то захотел поиграть в политику. Сотни. – Житель Донбасса несколько раз мысленно налил по сто, вспоминая ушедших в небытие товарищей.

Добавить было нечего. Лёха немного выпустил пар, плюхнулся на нары и стал подозрительно осматривать Кизименко. Вроде бы установилось перемирие. Старик опять снял туфли и принялся вычищать песок из носка. Казалось, он смог принести половину днепровских пляжей, а теперь тщательно чистился, чтобы устроить себе тут прибрежную зону.

– А вот я доволен жизнью, – поделился своим счастьем дедуля.

В ответ Лёха громко хмыкнул, но ради любопытства решился расспросить.

– И чем именно доволен? – задал он логичный вопрос.

Никитич только и ждал, чтобы его кто-то спросил об этом. На его лице расплылась улыбка фокусника, который готовится к тому, чтобы удивить мир своим чудом.

– Я за год смог прожить полностью другую жизнь, – обрисовал он картину своего существования.

– Да все мы прожили другую, теперь, сволочь, разгребаем, – согласился Лёха.

– Не об этом я, – продолжил дед. – Вот смотрите: живете вы своей скучной жизнью не один десяток лет. А знаете, какое чувство появляется у старика? Что все десятилетия прошли в тумане.

И тут дед принялся рассказывать о том, что человек выхватывает одно-два события из кучи лет, а все остальное – как размытый фон. Вот прошел, например, очередной год – и нечего вспомнить.

– Я понял одну вещь: память – это то, что можно ощутить почти физически. Потрогать, пощупать. А если этого нет, то и в памяти ничего нет. Поэтому я рванул неизвестно куда. Бежал куда глаза глядят, чтобы сделать последний рывок перед смертью. Я хоть немного увидел мир, – вдумчиво пояснил Никитич.

Дед закончил свою речь и принялся довольно чесать бороду, словно маг из голливудского фильма.

– Слышь, я не понял, кого ты там щупать собрался? – серьезным голосом проговорил Лёха.

– Балда ты. Зеленый совсем, жизни не знаешь, – сокрушался старец, жалея, что публика не поняла глубину его мыслей.

– Как тебя понять, старый пень, когда ты ни хрена не говоришь, несешь пургу, – парировал Лёха.

– Ох, ну какой же вы туп... – дед начал было произносить фразу одного киношного героя, но вовремя остановился, вспомнив недавнюю сцену. – Ладно, забыли о памяти. – Никитич смирился с участью быть непонятым и тут же перевел на более доступную тему. – Давай лучше о бабах!

Лёха чуть улыбнулся. Почти незаметно для других улыбнулся и Илья. На минуту в камеру вползло молчание и, как дикий зверь в логове, поудобнее расположилось посреди помещения. Никто не хотел трогать зверя и нарушать покой, а тот разлегся, поглотив своей шерстью все звуки, даже людское дыхание.

– Дед, а почему ты говоришь, что за год прожил лучшую часть своей жизни? – вдруг спросил Илья.

В ответ раздалось традиционное сопение и гудение слов в серебристой бороде Никитича.

– Потому что человек живет как будто не своей, а чьей-то чужой жизнью. Жизнь многих проходит мимо них, цепляя лишь краем, – голос старика прорвался сквозь бороду.

– Так, дед, наверное, тебя выгнали из села за твои шибко умные речи, – с иронией продолжил Илья.

– Вот тебя, щегол, может, и выгнали, а я сам ушел, – с гордостью проговорил Пётр Никитич.

Неизвестно, сколько бы продолжалась перепалка, но в двери вдруг открылось окошко.

– Опа, – сказал Лёха и приподнялся, чтобы посмотреть, что там происходит.

Между тем черный рот окошка обнажил плотную темноту коридора СИЗО. В этой плотности сам воздух, казалось, приобрел очертания кого-то из преисподней. Это тянулось несколько секунд, пока громкий стук не возвестил, что окно в ад захлопнулось, оставив заключенных в предбаннике чистилища.

– Что это было? – задал вопрос Илья.

– Не знаю, но, похоже, какая-то проверка, – ответил дед.

– Да, старик, проверяют, жив ты или уже отдал концы со своими рваными носками, – съехидничал житель Донбасса.

– Ха-ха, как смешно, – сухо ответил Никитич, – да я еще

тебя переживу, молокосос.

Лёха усмехнулся: дед не выходит из хорошей спортивной формы балабола. А между тем открытие окошка выглядело довольно странно. Ведь они не устраивали кипиш, не кричали, не дрались, но кто-то пристально за ними наблюдал.

Арестанты разошлись по нарам. Старик опять начал восхождение на двухэтажный Эверест, при этом стонал и кричал пуще обычного, пока наконец-то старческое тело не было поднято на высоту два метра двадцать сантиметров над уровнем пола.

Лёха злобно поглядывал на Илью, который теребил пальцами грязное покрывало на нарах. Ему нужно было чем-то занять руки, чтобы отвлечься от нахлынувших мыслей. Сколько людей до него лежало на шконке – не счесть, как звезд. Каждый оставил свою вмятину, небольшую потертость, след своего ДНК. На этих нарах перемешались толстые и худые, святые и грешники, виновные и оболганные, верующие и разуверившиеся – все и никто. Из ста восьмидесяти минут прошло тридцать пять.

## Глава 6

Вдыхать воздух Невы можно бесконечно. Даже не вдыхать, наверное, это слишком просто. Он настолько густой и насыщенный, что – особенно осенними днями – его можно кушать, жадно загребая руками. Запихивать себе в рот, словно был голоден тысячу лет. Не обращать внимания на снующих прохожих. Стоять у синеватой плоти реки, видеть, как высокий острый шпиль Петропавловки пытается проткнуть небо. Илье исполнилось восемнадцать лет. Чего он хотел от волн, лезущих друг на друга. Не понимал. Просто смотрел на свинцовую с вмятинами водную гладь. Кизименко очень изменился. Из тихого и невзрачного мальчика превратился в бесшабашного бунтаря. Часто уходил из дома. Дрался, как заправский боец.

– Ох, сынок, ты опять с кем-то бился, – поутру не раз говорила Ирина, глядя на распухшее лицо сына.

– Не волнуйся, мама, это я упал с лестницы, – угрюмо отвечал он, садился за стол и с жадностью уплетал жареную картошку.

– Ага, упал. Прямо на чей-то кулак, – озабоченно повторяла Ирина, нежно поглаживая сына по плечу.

Причина новых приключений Илюхи простая: он сошелся с Федькой. Они учились в параллельных классах, не сильно якшались, но однажды встретились в баре. Федя подошел к

нему вместе с бритоголовыми парнями в серо-зеленых куртках и армейских черных бутсах.

– Че, пацанчики, бухаем без толку, – с усмешкой проговорил он. – Нет бы делом заняться.

– Каким делом, Федя? – спросил Илья, вспомнив его.

– Движуха есть. Четкая до делов, а главное – со смыслом, – процедил он, присаживаясь за стол.

– Какая это? – продолжил разговор Кизименко.

– Ща погоду, чайку глотну, – ответил Федя и навис над стаканом с черной жидкостью.

Музыка неистово гремела, словно владельцы бара решили узнать, сколько децибелов сможет выдержать человек. Иногда она затихала, но вскоре новая композиция раздирала воздушное пространство двумястами ударами в минуту.

– Так вот, понима... – очередной аккорд песни об изменчивой женской любви поглотил сказанные слова.

Ничего не было слышно. Федя просто открывал рот, и слова, казалось, застревали в его горле. Осознав комичность ситуации, собеседники перемигнулись, мол, давай выйдем на улицу. Через пару минут они уже шли в сторону старого города. Бритоголовые еще какое-то время шлепали рядом, а потом незаметно скрылись. Федя поведал, чем он занимается в последнее время.

– Пойми, русские – самый униженный народ в России. Любой «чех» (так на сленге называют чеченцев) может задорчить всякого, даже крутого русского. Да любой черножо-

пый сейчас имеет больше прав, чем мы. А знаешь, кто такие «чехи»? Они как клещ, который впился в страну. А потом еще больше расширился, проник всюду. Нельзя вот так оторвать Чечню, отделить ее от России. Чеченцы на всех уровнях – от власти до районных бизнесюков. Наша страна прогнила до самого дна! – говорил он своему собеседнику.

А тот слушал, думал, ведь и правда: русским нет места в своей стране. Куда ни плюнь – везде «черные». Скоро не найдется места в России для основной нации.

– Но чурки – полбеды. Главное – Путин. Это он, сволочь, узурпировал власть, дал ее абрекам. Вот посмотри на этого, – Федя кивнул на прохожего, который стоял на бульваре. В его руках была видна скрученная газета с фото Путина.

– Эта биомасса, которой как хочешь, так и управляешь, – значительно проговорил Федя.

– А что делать-то? – задал закономерный вопрос Илья.

– Переворот. Только свержение власти и установление справедливого строя.

– Хм, ну, не знаю, – опешил от таких речей Кизименко.

– Да, я понимаю, брат, у тебя сейчас в голове каша. Приходи к нам, в «правый движ», мы тут реально таких делишек наделаем, – пригласил Федя.

Ответить положительно Илья не решился. Видал он по телеку скинхедов, которые молотили в переулках «нариков», бились на стадионах с иностранцами. Бритоголовые, крепко сбитые, неизменно в берцах – их вид нельзя было на-

звать привлекательным. Некоторое время парочка шла молча, каждый переваривал сказанное. Илья думал о том, что он – борец по натуре, но не находит себе места в этом мире. Нет цели. За что сражаться? Кого бить? А Федя взбодрился от своих же слов, энергия бурлила в его жилах. Горечь от осознания собственной ущербности можно было чувствовать не только духовными рецепторами, но и физически. Ирония истории такова, что потом это состояние назовут мертвым словом «скрепы», которое и близко не передавало состояние Федора, – он «слышал» эту горечь всем телом, ощущал ее вкус у себя на языке. Словно не слова он говорил, нет, – ел кислые травы жизни, жевал полынь несправедливости в первоизданном виде, да не знал, как отказаться от этой пищи.

Так продолжалось несколько минут. Они подошли к Неве. С чем сравнить реку? Наверное, с кровообращением. Город, подобно человеческому организму, питается водой. Она приносит в места скопления жителей полезные вещества, необходимые для их существования, словно кровь, насыщает кислородом архитектуру городского тела, питает свежестью, овеивает на затхлые улицы воздухом степей и неизмеримых просторов.

Горе городкам, по венам которых не течет вода! Они, подобны мумиям, иссушают своих жителей черствостью воздуха, пылью быта. Глаза привыкают к местности, лишенной живительной влаги, и такие люди уже никогда не смогут напиться, если они попадают к морю, остаются, как загни-

тизированные, там навсегда – слушать детское бормотание набегающих на берег волн.

Илья смотрел на Неву и вдыхал, нет, ел воздух, жадно и со страстью заглывая его кусками. Ветер прикасался к лицу нежными поцелуями. Чайка разрезала небо на две части.

– Что нужно делать? – с готовностью спросил Кизименко.

Это было в 2007 году. Пройдет немало времени, а он будет вспоминать этот разговор еще не раз. Жалел ли Илья о принятом решении? Ни разу в жизни. В какой-то момент стало понятно: война – это главное, что его интересует. Даже книги он не так часто брал в руки. Да и некогда теперь было. Первым делом он перезнакомился с местной тусовкой – такими же «правыми». В основном это бывшие «скины». Так повелось, что они переросли подростковые сходки, и теперь их объединила одна общая идея.

– Если кто-то скажет тебе, что он давно «правый», но не был в скинхедах, не верь ему – подстава, – наставлял Илью опытный Федя. – Главное – пойми несколько вещей.

И стал перечислять по порядку. Мол, у участников «правого движа» нет четкой и однозначной, принятой всеми идеологии. Взгляды разнятся от одной группировки к другой. Кого только не встретишь под имперскими флагами?! И монархистов-государственников, и национал-демократов, и авторитариев, и национал-социалистов.

– В общем, много всяких, не перечислить. Какой-то сброд, субкультурщики. Каждый день кто-то говорит: «А теперь,

братки, мы тоже с вами». Понимаешь, какая сила, мощь? – вопрошал Федя и довольно улыбался.

В его рассказе ощущался смысл, как сквозняк в питерской хрущевке. Давно Илья не сталкивался с такой концентрацией обоснованности и упорядоченности. Ему всегда хотелось видеть резон в каком-то движении, веянии. Хаос и беспорядок – то, что прочно переплелось в окружающей его жизни, – вызывали отвращение. А тут все разложено по полочкам. Борьба ради порядка. Что может быть лучше?

Он еще много раз прогуливался с Федей. Набралась целая группа единомышленников, человек пятьдесят, иногда до ста. Частенько они бились на футбольных матчах с лицами кавказской национальности, бродили толпой по центральным улицам. Илья шел среди товарищей, которые шумели, словно водопад. Энергия, накапливавшаяся в парнях, подобно гравитационному полю гигантской планеты, всасывала все в зону своего притяжения. Попавшие туда растворялись в каком-то неудержимом потоке, который мало напоминал обычную жизнь.

– Россия для русских! Русскому народу – русскую власть! – кричали они так, что прохожие шарахались в стороны, словно сам ад разверзся и толпы диких орков устремились по улочкам Питера.

– «Единой России» – место в сортире! Долой власть чекистов! – все громче распевали «правые», и в каждом кровь бурлила, словно кипящая лава.

Бунт против системы возбуждал Илью не меньше, чем голая женщина на эротическом сайте.

– Вот смотри, была движуха «Русское национальное единство». Коротко – РНЕ, но они скурвились, провтыкали свой шанс. Потом распались, каждый, сука, собственные амбиции ставил выше идеи, а ведь было почти сто тыщ сторонников, – рассказывал Федя Илье историю «правого движа». – После на основе РНЕ замутили «Русское возрождение», которое возглавил Олег Кассин. Но потом, как обычно, просрали, полезли в политику. В общем, легли братки под бизнесюков. Есть еще такой Лимонов с Национал-большевистской партией. Но это левацкие отморозки, лучше с ними не связывайся. Ах, да, есть еще Славянский Союз (СС), тоже откололись от РНЕ. Те, конечно, радикалы еще те, но чуть перебарщивают ребята, уж больно открытых нациков среди них много.

Илья внимательно слушал товарища, а в голове бурлили мысли, словно горный поток. Как-то все не так. Много шума, а толку мало. Идея есть, но ни хрена нет нормальной реализации. Ходят, только шпану городскую пугают. Не так нужно, не так.

Еще долго Федя посвящал его в дела «правые», но своих сомнений Кизищенко вслух не высказывал. На одном «сходняке», когда они тусовались в парке, к ним подошел среднего роста парень с тонкими, правильными чертами лица и пугающе ледяными голубыми глазами.

– Че, братва, скучаете? – с усмешкой произнес он, попут-

но братаясь с каждым.

Илья наблюдал, как тот здоровается со старыми приятелями, с какой презрительной ухмылкой протягивает руку совсем молодым, новеньким.

– Это Лёха Мальчаков, погоняло у него Серб. Тот еще тип, говорят, что собак живодерит, типа, так развлекается, – прокомментировал сцену Федя.

– Ну, братишка, давай знакомиться. Как тебя зовут?

Ответить простой фразой Кизименко хотелось меньше всего. Что-то отталкивающее, но одновременно и притягивающее было в подошедшем. Непонятное, неопишное.

– Я Илья, – сказал он.

– Ну, здорово, теперь мы с тобой заодно, – протянул руку Серб.

Крепкое рукопожатие запомнилось обоим навсегда. В первый и последний раз они жали руки, во всех остальных случаях только стреляли друг в друга.

В этот вечер Илья возвращался домой, как обычно, дворами, останавливаясь у незнакомых окон и вглядываясь в неясные силуэты в квартирах. Он размышлял о том, что всякая несправедливость в мире хаотична. У зла нет общего центра, откуда оно действует. Такое происходит только в сказках, ТВ-новостях, мультфильмах и головах советских бабушек и дедушек. Зло беспорядочно, без разбору и логики ломает жизнь каждому.

Кизименко думал о том, что бытие не может поддаваться

одному правилу, следовать одному устою. Все перемешано, но если вывести центральную идею по возвращению к варягам, возврату в Европу – то можно будет построить успешное государство.

«В чем-то ведь должен быть смысл? Не может же мир быть случайным скоплением атомов?» – задавал себе вопросы парень.

Прошло четыре месяца, появились первые признаки весны. Воздух благоухал тягучей свежестью, которая витала в пространстве. Илья проглатывал комочки прохлады, и это приносило ему спокойствие. Рядом шел Федя, закадычный друг.

– Я решил пойти учиться в институт, – поделился Кизи-менко.

– Че, правда? И куда же? – поинтересовался приятель.

– Ну, понимаешь, я понял, что систему не поменять вы-ходками на улице. Нужно проникать внутрь и там устраивать кипиш, – растолковал он.

– И как ты это сделаешь? – спросил Федя.

– Пойду учиться на ФСБэшника, – просто ответил Илья.

Его собеседник поперхнулся, закашлялся, как старик, по-путно хватаясь то за сердце, то за живот:

– На кого-кого?

– Пойду учиться в погранинститут ФСБ. Как раз будет возможность развить агентуру, понять систему изнутри, из

каких винтиков и механизмов она состоит, – предвидя реакцию товарища, еще раз объяснил Илья.

– Слушай, да ты чекистом, сука, станешь, они тебе мозги промывают так, что ты через год уже станешь всех «праваков» ловить, – возмутился Федя.

– Не буду, – коротко сказал Илья, а сам вдруг подумал, что, может, товарищ и прав, погружение в карательные структуры поменяет его мировоззрение коренным образом. Чем дальше человек находится в среде, тем больше она влияет на него, формируя иные взгляды и мысли. Это принцип любой системы.

– Я выдержу, брат, мы еще повоюем с Путиным, не ссы, – как-то неуверенно произнес Кизименко и поднял глаза в синеватую скорлупу неба, на котором виднелись белые, как поролон, плотные тучи.

Через два месяца Илья уже ехал в поезде в Хабаровск, там жила его тетка, но главное, что там же находился погранинститут ФСБ. Пять дней в пути. В тесном купе с ним сидели бабушка, которая проведывала дочку, проживающую под Питером, хмурый мужик с лицом спившегося нефтяника, а на четвертом месте постоянно менялись пассажиры.

Илья часто смотрел в окно. Там мелькали облезлые деревья, заросшие поля, рваные купола кустов, обшарпанные дома. Казалось, не поезд едет, а растительность бежит, куда глаза глядят, прочь от стоящего на месте состава. Этот побег

связан с невозможностью жить иначе, непонятностью другого существования. Американцы и все западное здесь всегда в роли чужого только потому, что этот мир не допускает никакого иного уклада. Путин и сильная рука. Нищету может удержать только мощь режима.

Грязные дворы, покореженные дома, словно на них сел кто-то тяжелый. Нет точных и плавных линий – все ниспадающее, кривое, волнистое. В этой изломанности – естество российской жизни.

Бабуля в поезде без конца трещала о внучках, которые пошли в школу, о дочери, реализаторе на рынке, о ее таксующем муже. Тяжело им, перебиваются с копейки на копейку.

– Но ничего, – говорила бабушка, утирая платком край рта, – главное – нету войны, пропади она пропадом.

Пожилая женщина тоже жила плохо – с дедом на две пенсии, вот выбирается к деткам раз в пять лет, больше не может потянуть такие поездки.

– Главное, внучок, запомни: в России есть два состояния – ужасающая нищета и кровавый бунт. Уж лучше мы будем едва сводить концы с концами, чем посдыхаем от расстрелов, – учила она Илью.

А тот и не спорил. Он пытался слушать бабушкины рассказы каким-то глубинным нервом, ощутить естеством, почувствовать родину. Пусть он слышит ее привычный запах или даже устоявшуюся вонь, как смрад недельных носков. Пусть она, родина, тяжело дышит в ухо и голосом бабушки

рассказывает, что жизнь горемычная приковала их наручниками к тяжелым будням. Но нет, они довольны. Только не думайте, ничего против не имеют. Иначе – отпусти это стадо обозленных, изголодавшихся людишек, сорви цепи – искусают друг друга. Погрызут горлянки ближнего своего. Залют кроваво голодные рты. Пугают нас америкосами, гей-европейцами, бандеровцами всякими – и правильно делают. Люди так ощущают короткий поводок – везде враги, бежать некуда.

– Хуже только будет, ой, хуже, помяни мои слова, если, не дай бог, увидишь бунт кромешный в жизни. Прости, Господи, грешницу мя. – Бабушка подняла глаза к потолку потрепанного вагона.

А там виднелись разбитые панели и вывернутые, как кишки, внутренности люминесцентной лампочки. Одна полоска перегорела, а вторая в нервном и судорожном припадке мигала мутными вспышками.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.